

ТИШИНА

ЛЕВ
КРИВЕНКО

РАССКАЗЫ

Солдаты из выдвинутых впереди частей сообщили, что «немец» метнулся в сторону, в обход наших позиции.

Справедливость известий подтверждала артиллерийская перепалка. Стихая, она откатывалась в сторону и вдруг совсем оборвалась. Заглохшая канонада оттеснила нас от события.

Образовавшаяся тишина — тишина 41 года — была тишиной словно выключенного существования. От этой противоестественной тишины всем стало как-то не по себе, и все, что было пропитано этой бездеятельной тишиной, осточертело: было противное заплесневелое болото, удушливый туман, обволакивающий кочки, и «плывшие» в тумане невесомые деревья. Туман не рассасывался даже днем, только становился подвижнее и легче. Когда сквозь пар сочилось белое солнце, уже не припекавшее, то никого не радовала открывшаяся под солнцем зеленая вода.

Только возле вылинявшего берега, вокруг брусничных кочек свежей мокрой зеленью темнела трава, но и она, побитая ржавчиной, была уже тронута налетом той же гнили, что и опавшие скользкие листья, обсыпаящие землянки.

Раз, оживив стынущую землю, прилетел отбившийся от стаи дикий гусь. Он долго, с детским разыскивающим и зовущим криком кружился над болотом: так всегда зовут, когда почти не верят, что откликнутся. И гусь, не слыша ответного голоса, словно оглядываясь и на что-то еще надеясь, медленно набрал высоту. Гуся сочувственно провожали до тех пор, пока он не растворился в тумане.

К ночи болото, землянки, блиндажи, деревья заволакивались гнилыми испарениями. Вяло, врозь квакали лягушки и засыпали.

Все поглощалось мраком под-

кравшейся ночи.

Томительная, изматывающая безвестностью тишина привела, казалось, с собой эту ночь, придавившую землю.

Всколыхнув тишину и раздробив ночь, вдруг сухо трескал выстрел. Зря стрелять было запрещено, но выстрелы срывались сами собой: стреляли, чтобы обнаружить жизнь и не дать разъедающей тишине поглотить все живое.

Солнце разгоралось все сильнее и жарче: яркие просветы в разрывах белеющих облаков.

Обледенелый снег истачивался журчащей водой и испарениями на северных скалах высот, па дне воронок, в овраге.

На южных склонах — омочаленная трава с кое-где зазеленевшими островками.

Воробьи, чирикая, перепархивали с одной дымящейся навозной кучи на другую.

Вспухшая, жирная земля.

Весна... Весна 1942 года.

Вспыхивала вода, консервные банки, побитое стекло, пуговицы, бляхи. Ржавели каски, колеса разбитых повозок, гранаты с длинными деревянными ручками, гильзы, покрытые купоросным налетом.

И приторный сладковатый до тошноты запах: от воды, земли, снега, травы. Из воды, все убывающей и стекавшей в овраги, обнажалась истлевшая одежда, разбитые орудия, увязнувшие лошади.

За грохотом оборвавшегося отступления — тишина.

Тишина — пауза. Ноющая тишина. Всем существом чувствуешь эту надрывную тишину.

Тишина, сотканная из предчувствий, заставляющих все время быть начеку.

И кажется: как только, позабывшись, ослабишь осторожность, так сразу и получишь удар из-за угла, будешь сбит с ног подкараулившей тебя опасностью — всюду ямы.

Уходили облака и приходили, ничего не принеся, и уходили, ничего не захватывая с собой, — отвлеченные облака из жизни весны, потому что ее только видишь, не чувствуя себя в ней.

1944 год. Рота наша, заняв высоту, окопалась. Вся высота взрыта и перепахана снарядами — ни одного уцелевшего дерева. Не за что было зацепиться глазу, чтобы отыскать в этом месиве спасительную цель. И мне

мины, грохнувшей в соседнем окопе, мне показалось, что война для кого-то только что началась.

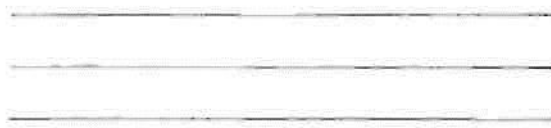
Но это уже была другая война.

Я спокойно, изучающе стал разглядывать новую высоту с удобными для скрытого подхода подступами — там еще уцелел кустарник.

...День выдался спокойным. Спокойным, конечно, для войны, когда перестреливались, чтобы показать бдительность и готовность к отпору. Глаз, обшаривая промоины чужих траншей, хладнокровно выискивал приметы сосредоточения сил на чужих позициях.

Над передним краем расползлась

ОКОПЫ



казалось, что та сила сопротивления, которая только что бросила меня вместе со всеми на эту разрытую высоту, уже на исходе.

Но вот в ночном воздухе, недавно плотно придавившем окаменевшую землю, вдруг появляются легкость, невидные движения.

Вдали проступала светлая полоса, отделяя небо от земли. Там, где цепенела масса чего-то зыбкого, теперь дымился пар.

Светлая полоса разрасталась. Накаляясь, она постепенно розовела.

Туман сдунуло.

Солнце уже видно все.

Где-то, словно позабывшись, щелкнула птица. В ответ ей засвистела другая.

Спросонья громко квакнула лягушка. И снова — тишина.

Тишина. Никакой войны вокруг как бы и не было. Просто выступал новый день.

Рассвет начинался вместе с тобой: и в войне я жил как бы вне войны, вся жизнь казалась еще впереди.

А когда прокатился шум первой

тишина. Это была тишина опасная, тревожная, мстительная для чужих траншей, но спокойная, укреплявшая чувство уверенности к победе, в собственной удачливости, ласковая для нас тишина. Тишина, состоящая с нами в заговоре.

На нашей земле — наша тишина.

В 1943 году меня выписали из госпиталя.

Пока я выздоравливал, зима успела выдохнуться. Только под деревьями и возле заборов еще оседал снег и курился. По голубевшим лужам расходились сетчатые круги, как следы от убегающих водяных пауков — это с сосулек стаивали капли.

До самого горизонта, раздвигалось поле — ржавое, зеленое.

Обрубленные телеграфные столбы, кирпичная стена разбитого дома на солнечной стороне оранжево-красно горели, и уцелевшее окно то вспыхивало, плавясь, то гасло.

Настоящий мартовский день ранней весны.

Прела земля. Приглашающе белели

березы, и казалось, что лес этот перемещается: лиловый пар заволакивал стволы в одном месте и открывал в другом. Нал лесом сгущивались дождевые облака.

Вдруг стало ясно, что торопиться в окопы незачем: то, что я отлежал в госпитале, словно давало мне право на срок — хотя бы дороги — жить так, как хочется: отправиться в путешествие с единственной и нелегко достижимой целью — как бы все, что набежало бы под ноги, попало бы на глаза.

Довольные воробьи стаями носились над крышами за одним мокрым воробьем.

Не дожидаясь попутной машины, я не спеша зашагал к лесу. В свой полк.

Ночью, озябнув, вымотавшись, добрел до деревни с разбитой колокольной и постучал в окно крайней избы с поваленным забором. В дороге капитальные дома я почему-то обходил. Кому охота все время показывать документы, если даже они и в порядке.

Пахло талой водой. Над разбитой колокольной дымилось облако. Впереди, куда уходила, сливаясь с темнотой, дорога, и где шумела под мостом вода, на небосклоне, вырезав зубчатую еще более черную массу далекого леса, дрожало зарево. Там — передний край.

«Завтра туда».

И это зарево вдруг отдалилось, когда я увидел закутанную в платок женщину.

— Заночевать бы? — попросился я.

В дороге, если брел один, то встречные обычно сразу настораживались и выспрашивали: кто ты, куда путь держишь? Скажешь шутя, что человек, разве не видно? Не верят. Или ухмыльнутся: «мол, не на простака набежал».

Женщина кивнула мне головой, чтобы я пошел за иен вслед н, ни о чем не спросив, молча провела меня в сени, молча вышла и возвратилась с одеялом и матрасом.

И «завтра» отдалилось.

Я знал, что как только приземлюсь, — тут же и засну. Только разлежусь, сон выветрило. Так, бывало, наматываешься

за день и всю ночь ворочаешься, вздрагивая и не смыкая глаз: ждешь, когда из темноты выступят близкие тебе родные люди: отец, мать, братья, товарищи.

Потеря памяти о доме — словно забвение и потеря собственной жизни.

В соседней комнате читали вслух:

«Встать и затворить дверь никому не хотелось: было холодно и лень. — А мне хорошо! — проговорил Семен засыпая. — Дай бог всякому такой жизни. — Ты, известно, семикаторжный. Тебя и черти не берут. — Со двора слышались звуки, похожие на собачий вой. — Что это? Кто это там? — Это татарин плачет. — Ишь ты... Чудак! Привыкнет! — сказал Семен и тотчас же заснул. Скоро заснули и остальные. А дверь так и осталась незатворенной».

Я подошел к двери и попросил огонька.

— Зайдите. На этажерке спички. Я зашел и прикурил.

— А коробок довоенный, — сказал я.

Закутанная в платок женщина оказалась студенткой третьего курса. Звали ее Верой. Она рассказала, что вырвалась сюда, к матери в деревню на целое лето, чтобы пожить, как она сказала, просто пожить. Просто купаться, просто загорать, просто ходить по грибы, за ягодами — земляничкой, малиной, ежевикой. Она похвасталась: «Ради этого «просто» даже скинула досрочно все экзамены».

Понимаете, — удивлялась все еще она. — Война, кажется, где-то... И вдруг просыпаюсь я раз и никак сообразить не в силах, где я. Такой ужасный шум. Я — на улице. А на улице тарахтели грузовики, танки. Дым, гарь, пыль. Кричали не нашему. Понимаете?

— Понимаю, — сказал я.

Я понимал, что если бы она не добавила «вы понимаете», то никто бы не поверил ей, что все это именно так и случилось.

Я понимал, к тому, что стряслось, привыкнуть нельзя, и что война все где-то рядом, пока в тебя не стреляют.

Вера осталась в деревне учить

детей русскому языку и литературе.

— Литературе! — я обрадовался: наконец-то я натолкнулся в дороге на человека родственных устремлений — о такой встрече я мечтал как о возвращении домой.

Вдруг зазвенели стекла окон, заклеенных газетами, и, перекатившись, ушел куда-то далеко артиллерийский раскат. И уже, не давая стихнуть раскату, стало погромыхивать через равные промежутки времени. У окна раздались крики:

— Тетя! Вера Васильевна... Раненых везут.

— Это дети, — сказала она.

Я открыл окно: увидев незнакомое лицо, ребяташки рассыпались.

В окне показалась отмахивающаяся лошадиная морда, повозка, голова, обмотанная бинтами. Передвигались огоньки сигарок. Слышно было, что перекрикивались.

Я выбежал и догнал повозку.

— Наступают? Наши? — спросил я.

— Тронулись, — отвечали мне весело те, что курили.

— А 64-й полк?

— А там разве разберешь?

Задерживаться было нельзя — можно потерять часть, с которой сжился.

Утеряешь словно веру в собственную безопасность. Я поднял руку.

— Пиши! — закричала Вера мне. — Обязательно пиши.

— Обязательно.

Свой 64-й Гвардейский стрелковый полк я застал на старом месте. Наступали где-то справа... И только тут, придя в свою роту, я обнаружил, что в спешке не взял у Веры адреса. Старшина Беляев из Таганрога, с которым мы обсуждали все свои семейные дела, обещал мне при удобном случае езду за обмундированием: я сумел бы тогда воспользоваться случаем по своему усмотрению и навестил Веру.

...Сколько, про себя, то в пахнувших погребной сыростью окопах, блиндажах и землянках, то снова на госпитальной койке, то у костра, а то и просто опять в

дороге я сочинил Вере писем, согревающих самого себя писем.

И все сожалел, что зря тогда не задержался.

Целый месяц, возвратившись на передовую, я вел себя осмотрительнее, осторожнее, чем до встречи с Верой. Словно я теперь еще кому-то был нужен и поэтому должен был наверняка выжить. Все взвешивал, опасаясь натолкнуться на шальную пулю, подорваться на mine. Обходил открытые поляны. Не высовывался из окопа: поглазеть, что там впереди. А потом... потом передвинули нас на новые высоты, потом еще на новый рубеж.

И как-то унижительно стало осторожничать: всегда надоедало стеречь жизнь, а не жить.

1946 год.

Я позабыл, как Вера тогда выглядела. Я помнил только то, что не стиралось временем: я помнил, как всегда, недостающую в пути, в жизни молчаливую доверчивость к человеку в дороге, — ведь если тебе не верят, то словно ущемляют тебя в твоих справедливых правах.

...Приезжаю я на студенческие каникулы в город Невель. С хода, помню, взяли этот город.

Блиндажи, землянки осели, рухнули. Чернели воронки со стоячей зацветшей жижей. Помесишь затхлую воду палкой — разбегутся головастики. Плесневели гильзы, каски.

Знакомые окопы оседали, обваливались и стягивались краями — заросли крапивой, лопухами.

И опять знакомые окопы — тянулись к самой насыпи: здесь, я помню, нас держали под огнем весь день.

Для меня эти траншеи были теперь не просто приметамы недавней войны, а — приметамы родства с людьми, копавшими окопы.

До Вериной деревни я, легкий, стремительный, отмахал верст двадцать по каменистому тракту, раскаленному солнцем. Солнце пекло отвесно. Ни одного дерева. Справа, слева белые, желтые, малиновые, голубые заросли

ромашки, колокольчика, семенного закустившегося красного щавеля, полевой каши. И рожь с перемещающейся легкой тенью — ползли редкие облака.

Дорога свернула, и я... увидел ржавый танк. Наполовину танк уже втянуло в землю: засосало, как тестом, вспухающей землей. Из всех щелей, пробоин лезла трава.

Я разбежался и вспрыгнул на башню.

Расселся, положил ногу на ногу, с наслаждением размял папиросу и закурил с так редко выпадавшим чувством радостного самоудовлетворения: теперь, словно действительно впервые в жизни, меня ничего не подгоняло.

Впереди — опять рожь. Река с истоптанным берегом и с погружившимися в воду тяжелыми коровами — спасаются от зноя и мошкары.

И — знакомая колокольня.

Я соскочил вниз, упал в траву, и дурмящая трава сразу закрыла танк и дорогу — в глазах только бело-белые облака.

Все только настоящее.

Трава осыпала меня божьими пятнистыми коровками, росой, и я стал кататься по траве, то раздвигая в зарослях проход, то полз как бы вплавь.

Вдруг я машинально выбросил руку, заслоняясь от удара, словно в меня выстрелили или швырнули камень. Это упал в траву вспугнутый мною перепел.

Опять тишина. Настоящая тишина, родственная, никому ничем не угрожающая. В этой раскрепощающей тишине я разбираю журчанье ручья, пополз по-пластунски, впервые по всем правилам военного устава,— пополз ради удовольствия.

Стекал настоящий ручей с песочным дном. На дне с растворенными солнечным светом то вспухали, то лопались лунки — приподнимался песок и взрывом разбрасывался и опять втягивался.

Это — ключи: дышат, как рыба.

Я окунул голову в образовавшийся водоемчик со вспыхивающими на дне камешками. Оторвался и опять припал к

струе.

Избу я признал. И нет уверенности, что не ошибся. В деревне все то и... не то, кроме совсем неизменившейся колокольни. В, разгороженной оградами, плетнем, заборами деревне настораживала незнакомая тишина.

Я уселся на бревно и стал ждать. Теперь за спиной у меня не было права солдата, у которого крыша там, где сбивала его с ног усталость или пуля. Может быть, сама Вера случайно выйдет к реке просто покупаться, просто позагорать. В такой жаркий день я бы не усидел.

Вокруг сонная тишина. Тишина, с которой у меня нет ничего связывающего: я этой равнодушной тишины не понимаю — в ней нет ни выжидательного затишья, нет и раскрепощающего состояния мира.

Я подошел к избе и надавил на дверь. Массивная, не поддается. Я дернул за веревку. Заскрежетал засов.

Можно было подумать, что здесь не живут, а прячут что-то или прячутся. Растворила калитку морщинистая женщина в городском цветистом халате. Она не снимала цепи, загораживающей вход.

Я сказал: — Не бойтесь. Я — не здешний, проездом, но еще... весной в 43 году это случилось. Я тогда зашел... Тут, если я не ошибся, жила Вера, учительница.

— Это моя дочь, — сказала хозяйка и вдруг вспоминая закивала: — Припоминаю. Я тогда тебя заметила. Ты на вид был таким худющим, желтым. Да зайди. Притомился с дороги-то.

Я не удержался и поддел: — Что это у вас здесь своих больше пугаются, чем чужих? Запоры-то какие пудовые, как в банке...

— Теперь все свои, — усмехнулась она. — Уже и заспорил.

Во дворе шланг, колодец с навесом.

Через весь разросшийся сад — проволока. В глубине сада еще один домик.

Загремев проволокой, накинута на меня пес.

...Комната та и не та: знакомая этажерка с книгами, на подоконнике горшочки с какой-то рассадой, зачехленная мебель.

Хозяйка поставила на стол крынку молока, каравай хлеба и стакан. Я выпил молоко и спросил о Вере.

—Пей, — сказала хозяйка и снова наклонила крынку.

Я снова спросил о Вере.

—Да пей.

Я встал.

— Спасибо. Давно такого молока не пробовал, густое, освежает.

— Из погреба. А ты случаем не начальником будешь? — поинтересовалась хозяйка.

—Нет. Так рядовым и остался.

Хозяйка вздохнула.

—Обожди, — сказала она. — На дорогу что-нибудь соберу.

—Спасибо. Я к поезду тороплюсь.

ИИ понял, что торопиться-то давно было некуда, да и незачем!

Хозяйка все-таки удержала меня, чтобы сказать то, что я уже знал:

—А Вера замужем, в самом Ленинграде живет.

Я заторопился на поезд: — Привет передайте.

—Да обожди. Как же, все как есть опишу. Писать еще не разучилась, — и она засмеялась.

ИИ я засмеялся. Смеешься, раз не остается ничего другого. Потом сказал:

— Незачем писать. Пожалуй, не стоит...

— Ну, нет, — запротестовала хозяйка. — Вера помнит. Пока отсюда она не уехала, она все сетовала, что это спорщик ей не пишет. Война ведь была... Спорщиком она вас прозвала.

—Напишите.

...Во дворе на месте опять накопился пес. Я шагнул на него и так рывкнул, что пес нырнул в конуру, как подворотная дворняжка. Вот и все.

Еще одна встреча в жизни оказалась вычерпанной.

Цепочка тех же бело-белых облаков. И река, и мостик, и бревно, и колокольня — все на своих местах.

Ничего не скопилось, не обломилось, не сместилось.

Сперва показалось странным, что ничего не изменилось.

Всегда как-то не по себе, когда что-то уходит навсегда, а вокруг ничего не меняется.

И ни к какому поезду я не опаздывал. Торопиться теперь и в самом деле было незачем. Я взял направление не к станции, а к знакомому ручью — окунуться еще раз в настоящей ключевой воде, полежать возле ржавого танка и, добравшись к вечеру до Невеля, еще раз обойти окопы: покурить на том месте, где нас обстреляли.

...Возвратился я домой, словно освободившимся от каких-то обязательств перед кем-то и... через месяц женился.

Спустя одиннадцать лет, когда я приехал в Ленинград, то я опять обнаружил, что зря не взял тогда ленинградского адреса Веры! Что она мне? Я совсем позабыл, как она выглядела. Зачем она мне? Именно от нее-то мне ничего не нужно.

ИИ что это за чужеродная тишина, с которой у меня нет чего-то связывающего, словно, выйдя из войны, я не остался в живых, а только уцелел.

Зря я не взял ленинградского адреса Веры.

Но все-таки, все-таки зачем она мне?

Почему? Почему меня опять тянет навестить те места, где мы воевали? Почему так хочется еще раз — в последний раз — взглянуть на совсем затягивающиеся заквашенной землей окопы?